

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ушел Вадим Кожинов *Независимая*

Александр Щуплов *Газета, 2001, - 3 февр., - с. 10*

УМЕР Вадим Кожинов, загадочный и обоюдоострый рыцарь русской поэзии. Он был одной из самых примечательных и вызывающих огонь на себя фигур российского шестидесятилетия атомного столетия. Истинный и нетерпимый ко всякому проявлению литературного инакомыслия, не его, «кожиновского», толкования поэзии, ко всем следовавшим иной литературной стезей, Вадим Валерианович безапелляционно вынес за скобки жанра Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину и определил их в «беллетристы»... В глухую пору листопада, сиречь — застоя, двадцать с лишком лет назад, по телефонам и в устных беседах путешествовал знаменитый список Вадима Кожинова из шести поэтов, коих он признавал с у щ е с т в о в а ш и м и в России: Алексей Прасолов, Николай Рубцов, Владимир Соколов, Юрий Кузнецов, Олег Чухонцев. Последнее место в «шестерке» заполнялось по принципу движущейся очереди то Эдуардом Балашовым, то Петром Кошелем — в момент поэтического пика последнего, пришедшегося на создание стихотворения «Дверь открывается — входит отец...». «Петр, — помнится, пугал я его на молодогвардейской (издательство!) лестнице, — говорят, все, на кого положил глаз Вадим Валерианович, плохо кончают: Прасолов застрелился, Рубцова задушила подушкой любовница, Соколов перестал писать и пьет, у Кузнецова — головокружение от успехов». В ответ Кошель сопел... Да что мог он противопоставить, если самый любимый поэт Вадима Кожинова — Владимир Соколов при всем дружеском расположении назвал своего опекуна — «Кровавый Валерианыч».

Недоброжелатели именовали его «критиком Шкуркиным», писали эпиграммы вроде: «По-над ГУМом дождик льется, бьются капли по колоннам. Критик Шкуркин продается на рубли и по талонам».

Это неправда: Вадим Кожинов не продавался — ни власти, ни литературным кормушкам. Так, всю жизнь он сохранял верность своему учителю Якову Ефимовичу Эльсбергу, который занимался стукачеством на писателей, даже когда того исключили из Союза писателей.

Кожинов любил русскую поэзию — искренне и нежно. Ему, идеологу «тихой поэзии», в эпоху «долматусовской ошани» принадлежит честь возрождения интереса к деполитизированным Тютчеву и Фету. Он был ходячей энциклопедией поэзии России и, помнится, в нашем разговоре о Тютчеве на страницах «Книжного обозрения» выискивал у Федора Ивановича т а к у ю «антисоветскую» цитату, что главлитовские ефрейторши рвали на себе волосы: а не уберешь — классик! Впрочем, кто-то из его оппонентов, поучаствовавших с ним в дискуссии на страницах «Литгазеты», оповестил читающую публику, что за Кожиновым надо проверять цитаты вплоть до знаков препинания... Вадим Кожинов был душой любой славянофильской (в оппонировавших кругах язвили — «свинофильской») компании, особенно когда брал в руки гитару и пел русские романсы. Его ненавидели за литературный антисемитизм, хотя он, в общем-то, умело уходил от этого клейма бессовестности и давал довольно прочное объяснение своему стабильному недоброжелательству. В ответ оппоненты уличали его в непринципиальности на бытовом уровне: припоминали ему, что оба раза он был женат законным браком на прекрасных представительницах иудейского племени (второй раз — на дочери известного критика Маяковского, мастодонта и гробокопателя отечественной литературы Ермилова). В ответ Вадим Кожинов отшучивался: мол, именно так он борется с не полюбившейся ему национальностью...

Когда-то в эпоху консулата некий французский префект заявлял: «Бог создал Бонапарта и ушел отдыхать». Вадима Кожинова русский Бог создал для того, чтобы он стал блюстителем чистоты крови в русской поэзии, Змеем Горынычем ее мнимой, никогда не существовавшей непогрешимости, местоблюстителем «неистового Виссариона»...

В последние годы — перестройки и постперестройки! — он ушел из литературной критики, стал покрываться бронзой, сделался «серым кардиналом» журнала «Наш современник», превратился в историка, написал книги о «черной сотне», вопросах исторического бытия России, которые читаются не менее интересно, чем его жэзээловский «Тютчев»...

Когда-то в конце семидесятых в эксклюзивно-зеленом мальчишеском соперничестве «утереть нос» — я вставил в выходявшую книжкой поэму «Серебряная изнанка» строки о Вадиме, назвав его «критиком» (помнится, Сан Саныч Иванов написал в те годы лихую пародию на эти взъерошенные строки). В первую же встречу в ЦДЛ Кожинову задал мне в упор вопрос: «Почему вы называли меня критиком?» — «А кто вы?» — «Я — литературовед!» — «Вадим Валерианович, «литературовед» у меня не влезал в стихотворный размер!..»

Автору этой заметки остается послать вослед ушедшему литературоведу последнее «Прости». А свое «Прости» он скажет (или не скажет!?) т а м, где встретится с литературными врагами. Их у него было больше, чем у других российско-советских шестидесятников. И пусть вслед ушедшему неистовому в своей любви к русской поэзии «Кровавому Валерианычу» полетят те далекие стихи, написанные мною в пору, когда он ходил в литературных изгоях и «непонятках» и когда удостоиться его благосклонности — равно как и ненависти — считалось знаковым признаком присутствия в русской поэзии:

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ИЗ ПОЭМЫ «СЕРЕБРЯНАЯ ИЗНАНКА»

На носу — разлуки и экзамены.
По-июньски лавочки тихи.
Тополя, седые, как Державины,
нас благословляют на стихи.
Я гляжу на мир в листок проверченный.
Сердце — дыбом. Зубы — нагишом.
Тают прахом все мои профессии
и вопрос грядущего решен.
У меня нахальством плечи скошены
и зрачки вылазят из углов.
Мне по средам снится критик Кожинов
с толстой книгой «Тютчев и Щуплов».
Я слежу за сердцем, как за зуммером,
и, сбивая с рыжих глаз пожар,
верю в круглоту Земли зазубренно:
вижу плоскость, а кричу, что шар!
По ночам с деревьев, как лунатики,
кошки очумевшие поют.
Я прощаюсь нежно с математикой,
получив, как милостыню, «уд».
Голосок училки слабо плещется:
«Ветер в голове — у одного!»
А сама придержит плащ на плечах,
чтобы ветер не сорвал его.
У нее глаза — совсем зеленые
и в груди вздыхают соловьи.
И застыли по уши влюбленные
дылды-одноклассники мои.
Ну а я питаю страсть к риторике.
Мне слова разлуку подсластят.
И стихи мои, как беспризорники,
на заборах сумрачных свистят.
Ну а я ей носом руку трогаю,
безнадежно зелен и спесив,
снова в сочинении по Гоголю
образ «птицы-тройки» не раскрыв.
1978 г.